

# СТРАХ, КОТОРЫЙ МЕНЯ УБИЛ

Псевдоавтобиографическая повесть

Мне удалось выжить. Я перенес многочасовую операцию, затем несколько курсов лучевой и химиотерапии. Очевидно, болезнь отступила на время... Но ее признаки появились вновь. Догонит меня, сволочь. Чтобы спастись, надо понять не причину появления смертельного врага. Причина ясна: это Промысел небесный. Надо изучить стратегию и тактику противника. Как врач, я способен сделать это...

\* \* \*

Я родился в тысяча девятьсот пятьдесят девятом году. С этого момента надо определить, когда появился страх. Страх, который меня убил.

Я стал рано помнить себя и поэтому вижу сейчас смутную картинку. Отец сидит на диване в крохотной комнатке. Я ползаю рядом. На отце — белесо-голубое военное белье, галифе, неснятые почему-то сапоги. Он показывает матери пистолет. Вынимает обойму и дает мне тяжелую черную игрушку. Он весел. Трезв. Но мать напряжена. Внимательно слушает его. Объявлена тревога. Офицерам выдали табельное оружие. Это крайняя степень напряженности. Что-то стряслось в мире, который я еще не изучил. Карибский кризис. Передался ли мне тогда страх, который испытывали родители? Нет, наверное. По настоящему нет.

Настоящий страх появился позже, в детском саду, когда я, стоя на крыльце, видел уходящую маму, которая улыбалась и махала мне рукой, а я плакал и чувствовал, что меня держит за плечо чужая тетя. Огромная и темная. Это был удар. Я так и не привык к садику. Я никогда не садился там на горшок по большому. Горшки, белые, эмалированные, грудой маячили в углу коридора, и постоянно на паре-тройке горшков кто-то сидел. Мальчишки и девчонки. Или просто пара девчонок. Они что-то обсуждали громко или перешептывались. А у меня не получалось вот так просто сесть в углу и прилюдно опорожнить кишечник. Я не стеснялся. Я испытывал страх быть осмеянным или задетым посторонним взглядом.

Страх, что меня побьют, объединившиеся в группку мальчишки, появился позже. В этом смысле поначалу я был абсолютно бесстрашен. Помню: когда меня стал задирать какой-то отвратительный верзила, я пожаловался отцу. Тот просто сказал: бей в нос. Я так и сделал. Зарядил со всей руки в нос этому засранцу. Кровь размазалась по его лицу. В глазах металось удивление и бессилие. Он заплакал. А воспитательница меня наказала. Больше он ко мне не приставал. Жаль, что эта черта не утвердилась во мне. Слабоват я оказался. Или не слабоват, а устроен как-то иначе. Не для прямых боевых столкновений, а для длинных, многоколенных систем сопротивления или нападения... Потом появилась группка мальчишек, предводителем которой был небольшого роста пацаненок, обладавший феноменальными физическими способностями. Мне сразу дали понять, что если что — расправа неминуема.

Я стал бояться. Но уже не жаловался. Оказалось, что есть места на планете, где родители меня не защитят. Мне не хотелось ходить в этот садик. У меня сводило живот от предчувствия насилия. Иногда это ощущение проходило. Но потом оно возвращалось и возвращалось, калеча сознание.

Самое смешное, что меня так и не пobiли ни разу. Хотя я не пресмыкался ни перед кем, не ползал на брюхе перед вожаком. Я был просто очень осторожен. И молчалив. И задумчив. Может быть, поэтому ко мне рано пришел онанизм. Однажды, когда вся группа спала после обеда в общей комнате, в каком-то полусне я ощутил в паху, а потом разлившееся по всему телу острое, не известное ранее, блаженство. Причем я сразу понял, что это нехорошо и стыдно. Потом это повторилось вновь и вновь. А еще потом я уже смоделировал схему получения нового удовольствия. Странно, что это не было связано с присутствием чего-то женского, вернее, девчачьего. И воспринималось это как странное, но имеющее право на жизнь свойство моего тела.

Переход из детского сада в школу был незаметным. Но в то же время новая неудобная одежда, новые предметы: пенал, ластики, карандаши, а потом ручка с чернильницей-непроливайкой, портфель, тетради — резко обозначили переход из одного состояния в другое. Школьные страхи начали накапливаться с неумолимой быстротой. По-видимому, я был так внутренне организован, что во мне находили себе место два начала: лень и обостренное чувство ответственности.

Учился я легко и хорошо. Я подбегал к дому и кричал во весь голос: «Файв!» Это означало, что у меня в тетрадках одна или несколько пятерок. Отец, почему-то, я помню, именно отец, радовался этому и говорил с соседями обо мне с искренней гордостью. Тем не менее, я быстро научился делать все в последний момент, после того как наиграюсь на улице или дома с другом Колькой. Хорошая память выручала меня. Уроки я делал на одной ножке, кое-как, ощущая неприятный холодок в животе при взгляде на часы и соотнося количество оставшихся минут до выхода из дома и количество заданий.

Я не нашел ни одного любимого предмета из преподаваемых в школе. А ненавистные определились сразу: русский язык и арифметика, которая потом сменилась математикой. Русский язык преподавала Людмила Ивановна. Тиранического типа старуха с низким мужским голосом. До сих пор она для меня есть женщина-монстр. Обращалась к нам она не иначе как: «Товарищи». Была крайне строга и абсолютно бесчувственна. Меня она не любила сразу. Все-таки было во мне ощущение внутренней независимости и свободы, которые я подчас не скрывал. Это страшно раздражало старуху. И она не упускала момента цапнуть меня, как старая обезумевшая овчарка. Я ее просто ненавидел. Поэтому интереса к русскому языку у меня не было вовсе. Да и откуда ему было взяться? Сухое, методичное, эмоционально монотонное преподавание превращало занятия в пытку.

Как я запомнил свое первое сочинение! Нам было просто сказано: «Пишите сочинение». Как писать, о чем? Я даже пытался спросить ее об этом. Но она что-то прошипела в ответ через губу. И мы с мамой бились над этим сочинением весь вечер и выжали полстраницы корявых несвязанных предложений. Причем тема не была обозначена, и мы придумали какую-то дурь про настроение. Так я получил первую тройку. Несправедливость душила меня. И я стал непримиримым врагом Людмилы Ивановны. И звали мы ее «Лидакол» — в соответствии со старой школьной легендой. Якобы она, ставя единицу в журнал, сказал бедной ученице: «Лида, садись. Кол». Страх перед занятиями русским языком парализовал сознание. Диктант или сочинение воспринимались как катастрофа.

Параллельно Лидакол воспитывала в нас ненависть к русской литературе. Это ей удавалось в не меньшей степени, чем вживание ненависти к русскому языку.

О математике вообще скучно рассказывать. Ее преподавала странная женщина. Я даже забыл, как ее звали. Она была полнотелой, белокожей, немолодой уже теткой. Глупость поселилась в ее глазах навечно. Тем не менее, это дебелое существо ухитрилось преподавать математику, геометрию и астрономию. Муж у нее сидел в местном районе, и чувствовала она себя в школе прекрасно. Самое страшное — она сама не понимала того, что преподает. Иногда она даже на уроке пыталась въехать в тему. И не стеснялась этого. Мы метались по учебнику, как бешеные мыши, но толку было мало. Только несколько самых упорных и одаренных ребят и девчонок с помощью природного чутья находили нужные тропинки в этих дебрях. И мы наседали на них в попытках списать правильное решение во время контрольных работ. С тех пор я ничего не понимаю в математике. И даже квадратный корень извлечь не могу. Страх особого перед этой училкой никто не испытывал. Она была в целом доброжелательна и незлопамятна. Кроме того, ходили слухи о ее выдающейся похотливости, и мальчишки рассказывали, давась смехом, что находили в страницах ее книг презервативы. Врали, конечно. Страх в мою душу несла не она сама, а невозможность понять предмет и нормально выучить уроки.

Новый страх пришел чуть позже шестого класса, когда мальчишки распределились по группам, агрессивным и беспощадным. Надо сказать, что жил я в районном городе Ртищево, который был большой узловой железнодорожной станцией. Город слыл откровенно бандитским. На окраинах, в лесопосадках, а то и в самом центре города происходили чудовищные вещи. Убивали, мучили людей. Массовые драки были событием заурядным. Ртищево был поделен на районы, которыми управляли отмороженные банды. Центровые, красноручевские, выдвигенские и так далее — по названиям районов города. Когда я выходил из дома (я жил в маленьком военном городке, где и банды не из кого было формировать), то попадал в зону красноручевских. По пути в школу я цеплял зону центровых. А школа располагалась в зоне выдвигенских.

Нас, детей офицеров, не любили. Наши отцы-летчики получали большие по тем временам зарплаты. Мы были хорошо одеты и жили в приличных условиях. Меня можно было не любить не только за одежду. Я был выпендюрой и выскочкой. Хорошо учился. А внешне был просто красавчиком. Таких не любят. И круги начались сужаться. В нашем классе было несколько откровенных будущих бандитов. Так что прижали меня сильно. Мальчишки знают эти намеки, скрытые взгляды, а иногда и прямые угрозы. Воображение у меня было чрезвычайно сильное, и я понимал, что меня могут не просто избить, а и пырнуть отверткой за углом школы. Поэтому в душу вцепился такой страх, которого раньше не было. Это был уже увечающий, убийственный страх. А по натуре своей я был трусоват, хотя старался не показывать этого. Но юные отморозки все чувствовали своим волчьим чутьем и периодически издевались надо мной.

Когда я выпросил у отца часы, приделал к ним модный тогда широкий ремешок и пришел в школу, рыжий веснушчатый толстомордый парень сразу отнял их у меня. А после долгих и унижительных упрашиваний отдал с условием, что я буду говорить ему, который час, когда он просто взглянет на меня. Правда, ему быстро надоела эта игра.

Школьный кошмар менялся на домашний, когда я пересекал перекидной мост через железную дорогу. Железнодорожная шпана постоянно пасла военный городок. У нас отнимали карманные деньги, некоторых били.

Правда, не убили никого. Но это частность. Ребят, живших в военном городке, было мало. Да и не были мы дружны. Половина из наших как-то ладили с «гражданскими», как их называли. Те их не трогали, но остальным доставалось по полной программе. Я помню, как один из наших мальчишек, отчаянный парень, избил одного «гражданского», когда тот начал издеваться над ним. Расправа последовала незамедлительно. На следующий же день. Мы играли на старом кладбище. Невесть откуда появилась группа юных бандитов. Нас окружили. После короткой матерной тирады наш герой получил в ухо. Специально зажался и взвыл, чтобы не били дальше. Этим он отвел беду и от нас. Если бы полез в драку, нас на этом кладбище уложили бы всех. Никто из нашей команды и не думал вступаться за своего. Страх сковал наши душонки. Шпана покружила вокруг еще немного и исчезла так же незаметно, как появилась.

Мне досталось уже в более старшем возрасте. Класе в девятом. Один из пацанов военного городка, противный татарчонок, спевшийся душа в душу с «гражданскими», пьяный, отловил меня во дворе и повел в посадки. Там поджидала парочка самых ненавистных и страшных для меня «гражданских». Я и не думал сопротивляться. Они молча стояли и наблюдали за развитием событий. Татарчонок, криво ухмыляясь, зарядил мне оплеуху. Потом кулаком ударил по зубам. Один из наблюдавших расторопно притащил здоровенный кол. Деревянный кол или штaketина с гвоздями — их привычные орудия в массовых драках. Кроме ножей и заточек, разумеется. Но татарчонок был пьяненьким и веселым. Он еще раз ударил меня. Я, уворачиваясь, ткнулся лицом в дерево, ободрав щеку. Мой палач увидел кровь и посчитал, что дело сделано. Почему те двое не стали участвовать в избиении — непонятно. Скорее всего, они договорились между собой о распределении ролей. Больше бить меня не стали. Молча ушли, и всё. Это была акция устрашения.

Животный страх перед «гражданской» шпаной засел так глубоко, что на всю жизнь сделал меня человеком трусливым и жалким в своей беспомощности перед внешним насилием. Я по-прежнему занимался онанизмом, иногда испытывая ужас от содеянного. Я боялся, что это приведет к каким-то нехорошим последствиям для здоровья.

Особенно вязким, отравляющим жизнь во всех ее проявлениях, был страх начала войны. Это было ни с чем не сравнимое чувство. Постоянные разговоры о войне, подслушанные на местной автобусной остановке, периодический ночной вой тревожной сирены, недолгие сборы отца в коридоре, освещенном лампочкой без плафона — все это приводило меня в ужас. Началось это лет с восьми и закончилось лет в пятнадцать. Так что страх, который испытали родители во время Карибского кризиса, все-таки прилип ко мне тогда. И пророс чуть попозже. Война воспринималась как крушение мира. Во внимание принимались масштабы всей страны, так как я был красным патриотом уже с октябрятских времен.

А разговоры теток у подъезда о годе желтого дракона и грядущей в связи с ним войне с китайцами... Войны с китайцами боялись все. И я в том числе. Они представлялись мне страшно агрессивными, жестокими и коварными. Единственной отдушиной были военные парады, которые показывали по телевизору седьмого ноября каждого года. Зримые образы невероятной мощи страны лечили больную от страха мальчишескую душу. Это поднимало настроение. Появлялось чувство защищенности и беззаботности. Там, наверху, сидят огромные военные, которые распоряжаются огромным оружием и в обиду они меня, лично меня, а также страну, не дадут.

Постоянно накапливающийся страх не ощущался на соматическом уровне. Я нормально спал, нормально ел. У меня никогда ничто не болело. Редкие простуды проходили мгновенно. В организме были неизрасходованные резервы прочности. Поэтому я был всегда весел, активен и любознателен. А может быть, я путаю что-то? Может быть, уже тогда страх жрал мое здоровье, а сознание спасало тело тем, что уходило в непрекращающиеся игры в шахматы с соседом Колькой, в беспорядочное чтение, которое могло длиться целыми днями. Может быть. Кто знает?

Я не отставал в физическом развитии. Более того, стал рано заниматься спортом. Но устройство моего тела, среднее по всем показателям и не выделяющееся чем-то особенным, не позволяло выдавать высокие результаты, хотя я бегал на короткие дистанции быстрее всех в классе. Я помню тот момент, когда мы на занятиях физкультурой начали осваивать стометровку. Стадиона рядом со школой не было, и бегали мы вдоль железнодорожного полотна, которое располагалось поблизости. Учитель, молодой парень, приблизительно рассчитал расстояние, вынул секундомер и дал старт. Я ветром примчался к финишу, опередив толпу мальчишек почти на половину дистанции. Когда мы вернулись к старту, я увидел, что учитель недоуменно смотрит на секундомер. По-видимому, там обозначился мировой рекорд. И пришлось ему честно отмерять сто метров широкими шагами. Мне тут же предложили заниматься в спортивной секции школы. Выдали шиповки. Но я не выбегал из результатов третьего разряда, как ни старался. Может быть, это было вызвано тем, что страх частично уже разрушил меня, и мышцы были задавлены мощным катком постоянных переживаний.

Страх стал постоянным спутником в жизни. Он бил в сердце, и оно дрожало, как мокрый котенок. Наносил удары в живот, чем вызывал спазмы и короткие пробежки до туалета. Он целился в мозг, и иногда ночи были бессонными. Мой организм оказался не таким уж защищенным. А болезненное, обостренное воображение, кроме вреда, ничего больше не приносило. Оно помогало при занятиях онанизмом, да и только. Я вырослел, и мой страх перед онанизмом приобрел чудовищные размеры. Я считал себя неполноценным, ушербным.